

## ОПЫТ ПЕРЕЖИВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ

УДК 94(470.345)''1920-1940''

doi 10.17072/2219-3111-2021-3-153-166

Ссылка для цитирования: *Богатова О. А.* Жертвы массовых репрессий в Мордовии: социальная идентификация, память и забвение // Вестник Пермского университета. История. 2021. № 3(54). С. 153–166.

### ЖЕРТВЫ МАССОВЫХ РЕПРЕССИЙ В МОРДОВИИ: СОЦИАЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ПАМЯТЬ И ЗАБВЕНИЕ<sup>1</sup>

**О. А. Богатова**

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, Саранск, ул. Большевикская, 68/1

bogatovaoa@gmail.com

ORCID: 0000-0001-5877-7910

ResearcherID: AAZ-1398-2021

Scopus Author: 6505697029

Предметом исследования, предпринятого в 2019–2020 гг. методом глубинного социологического интервью, является социальная память населения Республики Мордовия о массовых политических репрессиях 1920–1940-х гг. Его цель заключается в выявлении основных стратегий обращения с коллективной травмой в семьях репрессированных в региональном социуме, задачи – в выявлении основных субъектов социальной памяти о травмах репрессий, стратегий памятования и забвения и социальных факторов, влияющих на их выбор, стратегий групповой самоидентификации потомков репрессированных, предпосылок (или отсутствия таковых) консолидации более широких травмированных сообществ и основных культурных модальностей обсуждения травмы репрессий в категориях детравматизации или ретравматизации. Выделяются три основные стратегии обращения с коллективной травмой в семьях репрессированных: умолчание, характерное преимущественно для коммеморативных стратегий семей, не сменивших места жительства, способствующее индивидуализации травмы и ее межпоколенной трансляции; «проговаривание» травмы репрессий в терминах правовой и моральной оценки, в советский период основанное на усвоении самоидентификации «советского человека» взамен разрушенной в результате репрессий групповой идентичности; создание антикоммунистического контрнарратива о массовых репрессиях на основе наименее устойчивой в процессе межпоколенной трансляции стратегии дистанцирования семьи от сотрудничества с советской властью. В семейных нарративах о травматическом опыте доминируют детравматизирующие модальности историзации и мифологизации, не ставящие под сомнение ценность идентичностей, приобретенных в результате интеграции в структуру советского общества. В местных сообществах преобладающей моделью обращения с травматическим прошлым остается «диалогическое забвение».

*Ключевые слова:* социальная память, коллективная травма, травмированное сообщество, сообщество памяти, мнемонические стратегии, детравматизация, памятование, забвение, Республика Мордовия, массовые репрессии, раскулачивание.

Предметом изучения является социальная память населения Республики Мордовия о массовых политических репрессиях 1920–1940-х гг., объектом эмпирического исследования, предпринятого в 2019–2020 гг. методом глубинного социологического интервью, – потомки лиц, подвергшихся массовым политическим репрессиям, включая раскулаченных, отнесенных к жертвам репрессий в соответствии с Законом Российской Федерации от 18.10.1991 № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий». Основой методологии исследования послужили социальные теории коллективной памяти М. Хальбвакса [Хальбвакс, 2007], Дж. Олика [Олик, 2018], А. Ассман [Ассман, 2016; Ассман, 2019], Д. ЛаКапры [LaCapra, 2016], М. Хирш [Хирш, 2016], концепции социальной травмы Р. Айермана [Айерман, 2013], Дж. Александера [Александр, 2012], Э. Зерубавеля [Zerubavel, 2006], Й. Рюзена [Рюзен, 2005].

Цель исследования заключалась в выявлении основных стратегий обращения с коллективной травмой в семьях репрессированных в региональном социуме, задачи – в выявлении основных субъектов социальной памяти о травмах репрессий, стратегий памятования и забвения и социальных факторов, влияющих на их выбор, стратегий социальной идентификации групп «жертв» и «преступников» потомками репрессированных, предпосылок (или отсутствия таковых) для консолидации этих социальных категорий в перспективе, а также основных культурных модальностей обсуждения семейного опыта, связанного с массовыми репрессиями, в категориях детравматизации или повторной травматизации.

Основу современных исследований социальных травм (trauma studies), как и социальной памяти в целом (memory studies), составляет концепт коллективной памяти, введенный М. Хальбваксом для обозначения социальной обусловленности воспоминаний индивидов об общественно значимых явлениях и событиях [Хальбвакс, 2007, с. 325]. Дж. Олик предлагает использовать это понятие «для разнообразных мнемонических процессов и практик, рассматриваемых с нейрологической, когнитивной, персональной, собирательной и коллективной точек зрения» [Олик, 2018, с. 41] с целью социологического анализа таких мнемонических практик, которые не опираются на общепринятые коллективные нарративы.

С точки зрения Дж. Александера, статус культурной травмы «придается реальным или воображаемым явлениям не благодаря их фактической вредности или объективной резкости, но благодаря тому, что полагают, что эти явления резко и пагубно повлияли на коллективную идентичность» [Александр, 2012, с. 17]. Это социальный конструкт, имеющий довольно сложную структуру, включая распределение ролей признанных жертв травмы, виновников, спикеров, проблематизирующих травму, выступаая от имени жертв, и их аудитории, признающей факт травмы и необходимость ее преодоления посредством искупления или возмещения [Там же, с. 18].

Р. Айерман понимает коллективную травму как «кризис на уровне общества» [Айерман, 2013, с. 123], а культурную травму – как его репрезентацию, которая «относится к более абстрактному и опосредованному понятию коллективной идентичности, включающему религиозную и национальную идентичности» [Там же, с. 124]. Поэтому травма не только представляет угрозу коллективной идентичности, но и создает идентичность «сообществ памяти» [Там же, с. 123–124].

Основоположником исследований социальной травмы, как индивидуальной, так и коллективной, считают З. Фрейда, который впервые проанализировал и систематизировал (на примере вытесненных аффектов) индивидуальные способы преодоления психологической травмы, включая их подавление в форме забывания, которое, однако, никогда не бывает полным, «воспроизведения» аффекта в форме его поведенческого переноса на другой объект – «отыгрывания», и «проработки» в форме осознания и преодоления ущемленного аффекта с помощью психоаналитика («проговаривания») [Фрейд, 1923, с. 79–85].

К числу задач последующих исследований коллективных травм относится поиск соответствий этих способов обращения с коллективной травмой на уровне социальных общностей, позволяющих избежать психологизации этого феномена. Так, Дж. Олик отмечает, что «этический и концептуальный смысл проговаривания этой травмы невозможно редуцировать как к индивидуальной, так и к суммирующей индивидуальный опыт психологии» [Олик, 2018, с. 40]. Т. Адорно считает основной предпосылкой преодоления коллективной травмы устранение ее объективных социальных причин, утверждая, что «прошлое будет проработано лишь тогда, когда удастся преодолеть сами причины событий прошлого» [Адорно, 2005, с. 80].

А. Ассман анализирует социально одобряемые стратегии «преодоления прошлого», включающие способы управления как памятованием, так и забвением [Ассман, 2019, с. 28]. К числу четырех основных способов обращения с травматическим прошлым на уровне общества она относит «диалогическое забвение» (забвение конфликтов ради консолидации общества), стратегии «помнить, чтобы никогда не забывать» (память об асимметричном насилии) и «помнить ради преодоления» (память о коллективных травмах как условие общенационального примирения), а также «диалогическое памятование» (мемориальную политику нескольких стран, связанных памятью об общем насилии) [Ассман, 2016, с. 195].

Феномен социально одобряемого забвения анализирует Э. Зерубавель на примере «слона в комнате» – проблемного явления, которое по умолчанию игнорируется в обществе и становится, таким образом, предметом конвенционального «газлайтинга» [Zerubavel, 2006, с. 10], делая вывод о необходимости обсуждения «необсуждаемых» проблем, связанных с коллективными травмами, так как непризнанная травма, по его мнению, остается источником страхов [Там же, с. 81]. Й. Рюзен рассматривает историческую травму как катастрофическое событие, которое дестабилизирует коллективную историческую идентичность, так как не может быть проинтерпретировано с точки зрения господствующего исторического нарратива и не вписывается в цепь событий, описание которых его составляет [Рюзен, 2005, с. 55], выделяя целый ряд культурных стратегий «детравматизации» на уровне общественного сознания средствами науки и культуры, объединяя их в категории мифологизации посредством соотнесения фактов с «событиями» священного мира и историзации – включения травмирующего события в причинно-следственную цепь значимых исторических событий [Там же, с. 57], противопоставляя этим стратегиям «повторную травматизацию» как способ реактуализации исторического опыта [Там же, с. 60–61].

Возможность повторной травматизации следует из концепции «постпамяти» М. Хирш как «удаленной» исторической памяти, «транслируемой через эмпатию, самоидентификацию и солидарность с людьми, которые пережили определенные исторические события», включая семейную и «аффилируемую» институциональную память [Хирш, 2016]. И. В. Кукулин, наряду с травмой, унаследованной посредством «постпамяти», и «травмой, пережитой непосредственно», отмечает третий вид травмы – «травму, которую субъект открывает для себя... через осознание принадлежности к травмированному сообществу.... Это, если угодно, травма, открытая и пережитая по личному выбору» [Кукулин, 2015].

Таким образом, современные исследования социальных травм фокусируются на определении травмы как угрозы коллективной идентичности и стратегий ее преодоления. В данном случае уместно рассматривать в качестве травмированного сообщества как семьи потомков репрессированных, так и население региона в целом, а сообществ памяти – отдельные семьи.

В Мордовии события, связанные с раскулачиванием, лишением избирательных прав на основании конституций РСФСР 1918–1925 гг. на территории будущей республики, последующими «массовыми операциями» НКВД, хорошо изучены в конце XX – начале XXI вв. региональными историками [Морозова, 2009; Надькин, 2010; Надькин, Шишулина, 2011; Солдаткин, 2013; Солдаткин, 2017; Юрчёнков, 2017]. Республиканская книга «Память», в издании которой принимали участие территориальные правоохранительные органы, включает имена 13 882 репрессированных, в том числе 7112 крестьян, 1052 рабочих, 940 служащих, 742 священнослужителя [Зотикова, 2015], что составляет немного более 1 % населения Мордовии в 1930-е гг., однако этот перечень, по мнению историков, является неполным. Т. Д. Надькин пишет о «более 7–8 тыс. “раскулаченных” хозяйств..., в том числе не менее 3,3 тыс. выселенных со своего местожительства в 1930–1933 гг.», полагая, что к этим цифрам следует добавить «еще несколько тысяч семей, члены которых подверглись репрессиям в последующие годы, в том числе в ходе “Большого террора”» [Надькин, 2010, с. 174].

Главный фактор, превративший массовые репрессии в Мордовии в коллективную травму, заключается в их длительном, повсеместном и всепроникающем характере: они охватывали все административные районы и все слои населения региона, продолжались с 1920-х по 1940-е гг. Объект этих репрессий – «антисоветский» или «кулацкий» элемент – историки рассматривают как искусственно сконструированный продукт «социальной инженерии» большевизма, провоцировавшей раскол местных сообществ. В процессе раскулачивания категории «кулаков» и «лишенцев» на практике рассматривались представителями советской власти как тождественные, отнесенные к ним лица ставились органами НКВД на учет в качестве «антисоветского элемента» и становились основными жертвами «большого террора» 1937–1938 гг., на территории Мордовии включавшего «кулацкую» и «национальную» операции на основании Приказа Наркома внутренних дел СССР № 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов» от 30 июля 1937 г.

Таким образом, к факторам формирования социальной памяти о массовых репрессиях советского периода на территории Мордовии следует отнести в первую очередь радикальный ха-

раक्टर социальных трансформаций всей социальной структуры, включая и изменение статуса сельского населения, составлявшего в этот период более 90 % общей численности населения автономии [Надькин, 2010, с. 6], и регулярную тотальную смену состава представителей власти в регионе [Солдаткин, 2017, с. 38]. Среди других институциональных факторов формирования мнемонических стратегий не следует недооценивать значение проводимой в 1953–1964 гг. руководством КПСС «политики памяти» в отношении сталинских репрессий, включая организованный по инициативе Президиума ЦК пересмотр комиссиями в составе сотрудников Прокуратуры, МВД, КГБ и Министерства юстиции СССР «всех дел на лиц, осужденных за “контрреволюционные преступления” как судебными, так и внесудебными органами, находившихся в то время в местах заключения и ссылке на поселения» [Лавинская, 2007, с. 38] с последующей реабилитацией части из них, а также официальное осуждение «культы личности» И. В. Сталина на XX и XXII Съездах КПСС. Хотя количество реабилитированных комиссиями в 1954–56 гг. исчислялось всего десятками тысяч, часть сотрудников правоохранительных органов в связи с пересмотром дел также была отдана под суд [Сталинизм..., 2009, с. 30], и все это мотивировало и в дальнейшем родственников жертв репрессий добиваться их реабилитации.

Хрущевская «десталинизация» явилась опытом «морализирующей» детравматизации общественного сознания посредством возложения вины на отдельных лиц и осуждения предполагаемых виновников репрессий на фоне оправдания партийного аппарата в целом и его провозглашения главной жертвой сталинизма [Титов, 2005] и одновременно разделила жертв на «признанных» и «непризнанных». К обеим категориям могли относиться члены одних и тех же семей, например, раскулаченные крестьяне, приравненные к жертвам политических репрессий только в 1991 г., и их сыновья, имевшие отдельные хозяйства и ставшие в 1937 г. жертвами «массовой операции» НКВД, партийные «оппозиционеры» и лояльные члены партии и т.д. Количество признанных категорий репрессированных расширилось в процессе возобновления процесса реабилитации во время перестройки и постсоветский период, особенно с принятием в 1991 г. Федерального закона «О реабилитации жертв политических репрессий».

Эмпирическую основу исследования составили 24 глубинных интервью с потомками жертв массовых репрессий в Мордовии, взятые автором статьи в 2019–2020 гг. Большинство респондентов составили потомки раскулаченных крестьян; кроме того, среди опрошенных были потомки дворян (2), купцов (1), ремесленников из числа мещан г. Саранска (1) и священнослужителей (3) из различных городов и районов Мордовии. Большинство опрошенных вспоминали, что их предки пострадали потому, что они принадлежали к зажиточным сельским семьям, были уважаемыми и влиятельными членами местных сообществ – старостой, церковным старостой и т.п., или имели собственный малый бизнес, связанный с переработкой сельскохозяйственной продукции – маслобойку, крупорушку, паровую мельницу, либо занимались ремеслом (плотницким, кузнечным, скорняжным) и вследствие своей хозяйственной независимости не вписывались в колхозный проект.

Респонденты, включая детей репрессированных, отмечали, что они пользовались теми же возможностями, что и остальные, и крайне редко сталкивались с какими-либо институциональными барьерами к интеграции. О таких случаях сообщил, например, потомок расстрелянного «красного генерала», представитель дворянской семьи, один из членов которой бежал из Соловецкого лагеря за границу и издал об этом несколько книг. Один из его родственников был вынужден впоследствии оставить военную службу, а мать респондента испытывала проблемы с защитой докторской диссертации, из-за которых была вынуждена переехать в Саранск и поступить на преподавательскую работу в пединститут (впоследствии – Мордовский государственный университет) по приглашению его директора, бывшего партийного функционера Г.Я. Меркушкина.

Другая опрошенная, женщина 93 лет, дочь крестьянина, после ссылки поселившегося в Воронежской области, рассказала, что беспрепятственно закончила вскоре Великой Отечественной войны один из московских вузов и не сталкивалась с дискриминацией в процессе послевузовского распределения на работу и защиты кандидатской диссертации, однако ее брат, пытавшийся делать партийную карьеру, лишился такой возможности после официального запроса по месту его рождения, в Ельниковский район Мордовской АССР, который показал, что

он скрыл свое «кулацкое» происхождение. Остальные респонденты не испытывали никаких ограничений из-за своего происхождения или прошлого своих родственников.

В целом опрос продемонстрировал, что сегрегация семей репрессированных и превращение статуса «лишенцев» в наследственный не являлись частью советского проекта. Как следствие, формирования особой групповой «виктимной» идентичности у потомков жертв массовых репрессий не происходило, однако в некоторых случаях они образовывали локальные «сообщества памяти», наряду с семейными, со своими знакомыми из семей, вместе с ними отбывавших «кулацкую ссылку», уже после возвращения. Так, жительница с. Ичалки, родившаяся в ссылке в Читинской области, рассказала, что ее родители поддерживали отношения с другими подобными семьями, вместе с ними вернувшись в родное село. Третьим типом «мнемонических сообществ» были местные соседские сообщества, сохранявшие, как показано далее, противоречивые воспоминания о репрессиях.

В то же время раскулачивание и ссылка родственников, гибель некоторых из них в статусе «нелегитимных» жертв репрессий, боязнь общаться с вернувшимися из ссылки, конфликты среди родни часто приводили к тому, что в семьях память о них не сохранялась:

*Р. Моя бабушка была беременная, но решила так, что у меня, говорит, ничего ихнего нет, богатства нет, чего я буду скитаться по всей стране. Она просто с мужем не поехала, осталась она здесь, вот в Мордовии. А деда моего репрессировали, короче, всю их семью, они три брата были, мать, и полностью их отправили в Казахстан. Но бабушка моя, каким образом я не знаю, она вернулась обратно в Мордовию... Она приехала нелегально... Мой дед, который репрессированный, тоже каким образом, я не знаю, как у них получилось, но он оказался в Москве.*

*И. То есть он тоже сбежал?*

*Р. Скорее всего, это да. Может, там была возможность такая. А два брата у него погибли в Казахстане.*

*И. Во время голода?*

*Р. Во время голода, я думаю, что да. Они так и не вернулись, а он потом жил в Москве. ... Он женился уже еще раз под другой фамилией или как, не знаю, но он потом жил в Москве. У него еще четыре сына, кроме моей мамы, было. Ну, потом он погиб во время войны. ... Он признал, потому что она была беременная, она даже не сказала мужу. Она осталась и здесь родила. Но он признал, привезли вроде как для доказательства. И она говорит, я единственный раз только видела отца, и то, я, говорит, сидела в поезде, а он прибежал. Там еще из нашей родни против были, то, что вот это. Но я потом говорю: мам, ну он же тебя не оставлял, он даже не знал, что бабушка беременная. Он же не оставлял, а почему не дали вообще пообщаться (женщина, 59 лет).*

Забвению прошлого семьи способствовали и неоднократно упоминавшиеся в опросе успешные попытки обмануть советскую систему, изменив свои персональные данные (фамилию, отчество или год рождения) при получении документов в сельсовете, уже в постсоветский период лишавшие потомков раскулаченных узнать их судьбу в архиве, представив документы о родстве с ними. Степень распространенности таких практик на основании исследования трудно оценить из-за возможной «систематической ошибки выжившего»: как заметил один из опрошенных, «кто померли, те не расскажут» (мужчина, 45 лет).

Данные качественного исследования, с нашей точки зрения, дают основания выделить три основные стратегии обращения с коллективной травмой в семьях репрессированных.

1. Полное или преимущественное замалчивание, характерное прежде всего для стратегий семей, не сменивших места жительства. В этом случае в одном селе или в соседних селах проживали члены семей как раскулаченных, которые часто вынуждены были «скитаться по родственникам», лишившись собственного дома, так и односельчан, которые способствовали их раскулачиванию.

Хотя установка на «диалогическое забвение» в этом случае преобладала на уровне сообщества («Мы тоже не знали, что их вот, например, раскулачивали. Наши поколения вот не знали. А потом вот, когда уже стали эти компенсации и когда я вот, например, приехала, мама говорит, вот там эти деревенские, они получили компенсацию. А я еще с таким удивлением: “Какую компенсацию?”») (женщина, 59 лет)), «заговор молчания» эпизодически нарушался

их детьми и даже внуками, поэтому имели место также стигматизация и стихийная сегрегация членов семей репрессированных сверстниками или учителями, возможно, пытавшимися пере-страховаться:

*Р. Мама тоже рассказывала, что в школе, конечно, и учителя как-то относились не очень хорошо вот к детям вот этим, к ним в частности. Она еще вспоминает момент, ну мальчики есть мальчики, может быть как-то, может, засмеялись или еще там они. Нет, он, дядя Вася, брат мамин, он был военный. Потом он не хулиганистый, ничего. И чего-то учитель его вот стала вот выгонять... А как вот... конечно, притеснения были. В комсомол-то их не принимали.*

*И. Не принимали из-за того, что это внуки раскулаченных?*

*Р. Детей.*

*И. Это из-за дедушки, да?*

*Р. Да. Внучка-то я была, и я и пионерка, и комсомолка была (женщина, 71 год).*

Опрошенные вспоминают, что замалчивание было взаимным: посторонние люди не напоминали им о прошлом семьи, а они сами избегали этих тем даже в детстве в разговорах с родственниками:

*Р. Когда я маленькой была, я же всегда с бабушкой находилась, я ее спрашивала. Бабушка говорит, – ну да, но особо как-то не очень, я маленькая что ли была, ну знала, что клуб – это вот дом ее, у меня вот это как-то с детства. И сейчас я себя ругаю даже: ну что же я ее не спрашивала больше ее как-то вот это, и маму свою как-то не спрашивала, разговоров не было, и сейчас даже я собираю фотографии, книгу эту, родственницам звоню... и они как-то... ну, одним словом, кто-то сотрудничает со мной, кто-то нет, в общем так вот...*

*И. И окружающие, они знали, что клуб – это Ваш дом, бывший Вашей семьи?*

*Р. Да, да. Относились все нормально.*

*И. Они Вам ничего не говорили по этому поводу?*

*Р. Да нет. Только вот с мужем, муж иногда, когда что-нибудь, просто так говорит: «Кулаки вы» (смеется) (женщина, 53 года).*

В подобных случаях очевидно, что эта модель адаптации была вынужденной, способствовала индивидуализации травмы, ее межпоколенной трансляции и формированию негативной (само)идентификации. В таких ситуациях потомки репрессированных чувствовали себя травмированными и из-за собственной обездоленности, потери родного дома («Бабушка... плакала и говорила, вот мы с тобой скитаемся, ни дома, ничего... Она тоже была маленькая, то, что вот она запомнила, наверное, вот это она нам тоже говорила. Что вот отняли у них дом, она даже показывала этот дом. Она говорит, я помню большой дом. А потом уже, она говорит, я потом уже, там склад сделали в доме этом. А потом в итоге все развалили, сровняли, и ничего нет» (женщина, 59 лет)), и вследствие стигматизации со стороны окружающих: «И знаете, как вот по рассказам мамы, она сквозь до пенсии, в восьмидесятом году ушла на пенсию, непосредственно ей постоянно говорили: “Кулацкое отродье ты”» (женщина, 63 года).

Проблема забвения «испорченной» идентичности потомков раскулаченных крестьян, не подлежавших реабилитации в советский период, как правило, решалась при помощи пространственного и социального дистанцирования от местного сообщества благодаря возможностям профессиональной карьеры. Например, дочь вернувшихся в 1951 г. в родное село из сибирской ссылки крестьян рассказала о напряженности, возникшей между ними и односельчанами после намерения заново построить дом на месте своего бывшего земельного надела: «Когда мы сюда приехали, дом построили, хибарка такая, и отец чего-то там стал строить, а сосед и отцу-то говорит, вон куда вы забрались... Ну, это один, с этой-то соседкой-то хорошие были отношения, она всегда, а он такой был мужчина, что... Все равно чувствовали, и эти вот под окно подстроили, на нашей же земле построили под окном прямо дом. Это же земля наша была, и сейчас, и все время так. Межа вот за этим домом была, а эта за тем домом, межа, и они наших выгнали, забрали, а эти вступили в колхоз, поженились только-только, молодожены были, и этим отдали под стройку, и этим отдали под стройку» (женщина, 79 лет).

Сама она не осталась в селе вместе с родителями, а закончила педучилище (впоследствии пединститут) и работала в школах в соседнем районе: «Куда направят, туда и едешь... Ну, и

*это ладно, все это прошло, я 14 лет работала в школе. Я заочно поступила сначала. Закончила, а преподавала математику, а по математике заочно поступила».*

«Проработка» травмы имела место в таких сообществах уже после отнесения раскулаченных к жертвам политических репрессий в Законе РФ от 18.10.1991 № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий» и в процессе выплаты им компенсаций в основном в 2000-е гг., когда многие сельские жители впервые узнали о прошлом своих односельчан. Хотя не все дети раскулаченных согласились на это возмещение («Мне не надо от государства ничего, то, что я скиталась в детстве, мне сейчас уже не вернуть. Но у нас с государством очень крупные счета») (женщина, 59 лет)), тем не менее процесс документального оформления компенсаций и дачи свидетельских показаний способствовали обсуждению этой проблемы на локальном уровне.

2. «Проговаривание» травмы репрессий на приемлемом для советской власти языке и в приемлемых для нее формах представляло собой модель обращения с травматическим прошлым семьи, основанную на успешной «советской» идентификации. Исследование показывает, что дети и внуки репрессированных вместо утраченной идентификации с определенным статусом, как правило, искренне стремились сформировать не особую коллективную идентичность жертвы, несмотря на то что для местного сообщества они выступали в роли классической «жертвы отпущения», а именно идентичность советских людей как соответствующую социальной норме.

С этой целью они вступали в комсомол и КПСС, выбирали карьеру комсомольских и партийных активистов, военную карьеру или работу в силовых структурах, используя для успешной интеграции и формирования идентичности советского человека возможности территориальной и социальной мобильности, предоставленные советской системой, включая переезд в другую союзную республику – обычно в Среднюю Азию или Казахстан. Подобные жизненные траектории обычно выбирали не только и не столько родственники репрессированных, сколько многочисленные трудовые мигранты из Мордовии. Однако, как показывают подобные истории семьи, они также относились к условиям успешной «проработки» семейной травмы в период «оттепели» наряду с признанной идентичностью родственников в качестве жертв «массовой операции» НКВД, а не раскулачивания: *«И вот с рассказов матери, потом, когда началась это вот, реабилитация, ну я взял, написал в комитет... Я работал в Саранске... У меня даже есть корки вот это, КГБ... Раньше ведь, чтобы уехать, с колхоза должны справку дать, мне не дали. Я уехал в Казахстан, город Темиртау. Окончил училище. Меня там оставляли заворготделом... секретарем комитета комсомола. ...Потом и в милиции, и везде, и в военкомате я работал, и фотокорреспондентом... И нигде я, ничего это, никакого... В армии я, правда, не служил. А потом дослужился до капитана. Так что не было никаких вот этих вот, чтоб...»* (мужчина, 72 года).

3. Наконец, можно выделить такую модель обращения с семейной социальной травмой, как создание антикоммунистического коммеморативного контрнарратива на основе добровольной самосегрегации и, как следствие, формирования семейной «антисоветской» идентичности. Эта модель реализуется при условии достижения семьей определенной степени автономии, например, при бегстве из ссылки и переезде в лесной поселок или город: *«Бабушка задавала тон, потому что она была принципиальной противницей вступления в эти колхозы. Дед еще, может быть, как-то колебался, но она его так твердо в этом смысле направляла... И вот через Зеленый Клин [спецпоселок для сосланных в пределах республики] потом перебрался в Саранск, это было, наверное, в начале 30-х, потому что с 35-го бабушка с дедушкой воссоединились уже в Саранске здесь, теперь перебрались туда с семьей. Ну и после этого уже тех, кто не вступал в колхозы, их, в общем, подвергали репрессиям... Я помню с детства историю, например, когда приходили отбирать имущество, и моя прабабушка, мать бабушки, она в навозную кучу прятала Псалтырь... Она боялась, что у нее отберут самое дорогое – эту книгу. Ее нашли, кстати, и в навозной куче, но они бросили ей и сказали, что мы этого не берем, бабушка, мы другое искали. Вот эту историю я тоже помню. Но дед, повторяю, таким образом сохранился, и они потом перебрались в Саранск, и он устроился здесь в какую-то организацию, и ситуация была в чем-то действительно напоминающая второе крепостное право: то есть, когда узнали, где он находится, и какой-то местный деятель пришел и хотел его*

опять же забрать, то руководитель этой организации сказал, что он не даст его, что им нужны работники, значит, и не отдал его. Как два помещика между собой, значит, общались» (мужчина, 49 лет).

В этом случае происходит «проработка» травмы посредством ее моралистической историзации и мифологизации: например, члены семьи, поселившейся на лесном кордоне, в нескольких поколениях сохраняют уверенность в своей правоте и ожидают крушения советского режима: «Вот, собственно говоря, последствия, они большие связаны с тем, что вот как бы часть детей осталась неграмотными, несмотря на то, что они очень интеллектуально как бы развиты были, моя бабушка, например... В то же время они были антисоветчики, это совершенно точно. Это вот я с детства помню... Вот самый главный упрек бабушкин в адрес советской власти был в том, что они, значит вот, отучили людей получать радость от работы на земле. Второй упрек, конечно, был связан с религией, с тем, что это была безбожная власть, и бабушка как бы, я поскольку каждое лето у нее проводила, я каждое лето слышала, что вот посмотришь, она мне говорила, эта власть долго не пробудет, что она развалится и что и страна развалится и так далее. То есть, я, например, потом была очень удивлена, когда все это действительно случилось, вот, значит, собственно говоря, эти разговоры в общем-то вели мой папа, например, он партийный работник, он стал коммунистом таким идейным и так далее, вот, но он всегда, когда отправлял нас к бабушке, он нас просил, чтобы мы с ней не спорили» (женщина, 51 год).

Данный пример одновременно демонстрирует неустойчивость антисоветской идентификации в процессе межпоколенной трансляции, так как некоторые внуки, не желая чувствовать себя изгоями, искренне усваивают идентичность большинства:

*И. А отец уже не ощущал никаких, наверное, отличий между собой и окружающими?*

*Р. Отец, ну, я думаю, что нет. Я думаю, что не различал, хотя там тоже, бабушка, например, не хотела его отдавать в школу. Такое у нее было, она не хотела его отдавать. И как бы отец это объяснял как бы тем, что как бы вот она религиозная как бы, всяким мракобесием таким он это объяснял, а я вот думаю, что, скорее всего, она его не хотела отдавать не по этой причине. Возможно, что она как бы считала, что вот она неграмотная как бы спаслась от этого всего, и сына хотела тоже защитить. Но пришел ее младший брат, взял моего отца за руку, отвел в школу и сказал: «Прекрати портить жизнь ребенку». И мой отец с золотой медалью закончил школу, пошел по партийной линии, дослужился до неплохой должности и, в общем, до сих пор остается идейным коммунистом (женщина, 51 год).*

После дискредитации и распада советской системы этот выбор может быть отменен в следующем поколении, представители которого иногда конструируют семейную историю заново, открывая или «изобретая» преемственность собственной общественной деятельности с судьбами целого ряда противников советской власти из числа дальних родственников, включая как родственников, пострадавших за свои религиозные убеждения, так и предполагаемых «политических мучеников» – участников белого или зеленого движения, «сознательного власовца» и т.п. (мужчина, 49 лет). Однако в данном случае речь может идти уже о повторной травматизации по личному выбору, возможной при условии полной проработки травмы.

Таким образом, для потомков жертв массовых репрессий в Мордовии характерны вариативность основных мнемонических стратегий и их культурных модусов, включая детравматизацию при помощи морализирующей историзации или мифологизации травмы, возможность их сочетания и отсутствие жесткой зависимости их выбора от социального происхождения и занятий членов семьи в нескольких поколениях при наличии зависимости от локального контекста (местное сообщество или территориальная мобильность семей в рамках административного региона, союзной республики или СССР).

При этом преобладающей моделью обращения с травмами массовых репрессий на уровне сообществ является «диалогическое забвение», по терминологии А. Ассман. Это характерно и для российского общества в целом, согласно последнему всероссийскому опросу на эту тему, проведенному Левада-Центром (2017), в котором преобладающим (47 %) мнением в вопросе об обсуждении темы репрессий был вариант ответа «лучше говорить об этих репрессиях поменьше, не нужно ворошить прошлое», а в отношении организаторов и исполнителей репрессий большинство опрошенных высказывало мнение, что их следует «оставить в покое за давностью

лет» (50 %) или «простить» (7 %), и только 21 % опрошенных выбрали ответ «осудить» [Сталинские репрессии, 2017].

Отмеченному выше отсутствию групповой самоидентификации жертвы у потомков репрессированных, как правило, соответствует отсутствие интереса к проблеме личной или групповой ответственности их преследователей, даже если их имена и должности (например, членов «тройки» по Мордовской АССР, назначенных приказом НКВД № 00447) хорошо известны по открытым источникам. Как правило, респонденты предпочитают рассматривать проблему вины в модальности ее размывания посредством максимального обобщения и обезличивания «виновного» субъекта, либо в телеологическом аспекте, возлагая ответственность на «систему» в целом как безличную стихийную силу, превосходящую человеческие возможности, или на «время» как катастрофическую эпоху или испытание, посланное свыше (опрошенный священник): *«Я вот говорю о тех, кто написал донос. Я даже их знаю, и по именам, и по прозвищам. Это же наши деревенские рассказывали. И мама там, и ей рассказывали, кто приходил. Но я опять говорю, это, Бог всем судья. Потому что у меня нет... Они были люди системы, я вот свою жизнь анализирую, мы тоже были молодыми, пионеры, комсомольцы и так далее, и так далее»* (женщина, 62 года); *«Не знаю. Ну, может и никто не знает, в то время-то. Как сейчас пишут, давали задание, сколько человек нужно. Потому, по рассказам мамы опять же, я знаю, кто, говорит, кто частушку споет, какую-нибудь такую, по тем временам, антисоветскую. Вообще говорит, одна изба, дома ничего не было, даже сарая не было, грузили в вагоны и в Казахстан отправляли»* (женщина, 63 года); *«Они же какие-то безличные, какие-то сотрудники НКВД и все. Кто их знал-то по фамилии? Нет... Сейчас могу, сейчас с высоты ну лет прожитых, может быть, могу сказать, что сейчас, на данный момент меня, собственно, личность не интересует. Это, ну, это даже я даже не скажу, что система, нет, это какое-то все-таки было испытание Божие, наверно, для страны, для народа»* (мужчина, 57 лет).

Говоря о вине отдельных «гонителей», респонденты иногда пытаются найти смягчающие ее обстоятельства, даже имея представление о масштабе их преступлений. Например, родственница писателя и фольклориста, арестованного по «национальной операции» по ложному доносу своего соседа – тоже писателя, который в итоге не был осужден, но потерял работу, жилье, литературный архив и был вынужден переехать из города в село, рассказывает о покровительстве, оказанном его жене начальником УНКВД по Мордовской АССР, который вскоре сам был осужден за «контрреволюционную деятельность» и приговорен в 1940 г. к 10 годам лишения свободы: *«Это уже отдельная, очень интересная история, у К., это был начальник НКВД, и кличка у него была Палач... Начались пытки и побои именно... этого человека... Это я помнила всегда, причем он сам потомственный дворянин. И вот то, что о нем рассказывали, как он вообще, как с женщиной обращался, почему бабушку все знакомые отговаривали идти к К., а выхода не было, дети умирали от голода, оттого, что жене врага народа нигде устроиться невозможно было. Такой был порядок. И накануне приходила к нему просить работу жена поэта Б., Нина, мать четверых детей. Так вот либо он сам, либо по его приказу ее сбрасывают со второго этажа с лестницы. Она пролетела несколько пролетов. Она очень тяжело разбилась, она лежала в больнице, от нее тоже отворачиваются все друзья и знакомые, потому что все потом, муж был расстрелян, и вот бабушка, она попыталась, потому что она лежит одна, в таком состоянии, она хотела ее навестить. И вот то ли сама Нина передала, чтобы она ни в коем случае этого не делала, либо вот кто-то там отговорил, потому что дети... Но ее не то чтобы умное, но очень яркое поведение его как то, его ошарашило, и он ей дает работу. Тогда получить работу было невозможно женам репрессированных. Он дает ей работу, работа была очень сложная и трудная, она фактически теряла своих маленьких детей, и за самой собой тоже была приставлена слежка»* (женщина, 49 лет).

Обосновывая свое нежелание обсуждать вопрос об ответственности конкретных людей, принимавших участие в репрессиях против их семьи, респонденты чаще всего упоминают, что они сами были репрессированы либо понесли какое-либо другое наказание: *«Жизнь у них так сложилась не очень-то гладко»* (женщина, 62 года).

*И. Насколько Вам известно, эти люди, которые входили в «тройку», они понесли потом какое-то наказание?*

*Р. Тройку, не, ну, а как же? Их много, я почитал книгу «Память»... Да, это самое, наше Министерство юстиции, которая вышла, там все написано, кто кого там расстрелял... А дальше председателем «тройки» был, вот посмотрите, я сам, мало того, что я нашел, как говорится, вот оперативник, который занимался делом, потом я нашел его в расстрельных списках из чекистов, в этой же книге памяти нашел я его фамилию (мужчина, 79 лет).*

Для потомков репрессированных важна сама уверенность в том, что виновные так или иначе уже наказаны, а не тяжесть наказания. Так, родственница репрессированного писателя к моменту опроса не имела точного представления о судьбе главы республиканского НКВД и привела две ее версии: *«К., кстати, возвращаясь к встрече с бабушкой, она очень, скажем так, вольно себя повела, она понимала, что просто ее возмутило вот это... Возмутило его поведение, и она ему просто выплюнула в лицо, что моего мужа отпустят, вот увидите, а Вас расстреляют. В 39-м году, по одним источникам, он был репрессирован, расстрелян и не реабилитирован. По другим источникам, якобы он был в штрафбате, там он дослуживается до очень высоких наград, которые, в общем-то, по логике, штрафнику никак не положены, там чуть ли не Герой Советского Союза, и потом где-то он даже в правительстве отметился. Вот это вот две части, может быть, под его именем кто-то, портрет я нашла»* (женщина, 49 лет). Выяснив в результате поиска по базе данных сотрудников НКВД «Мемориала», что он действительно был отправлен на фронт в 1942 г., после снятия судимости в 1943 г. получил звание полковника, был награжден несколькими орденами и сделал успешную гражданскую карьеру, но так и не был реабилитирован, она не испытала никаких эмоций, кроме удивления.

На основании данных опроса можно назвать в качестве причин нежелания обсуждать проблемы личной или коллективной ответственности следующие:

1. «Соседская этика», предписывающая самоидентификацию со всеми, кому они считают свою семью чем-то обязанной, включая иногда даже конкретных «палачей», как и забвение ложных доносов соседей – в противоположность идентификации с обобщенными категориями «жертв» и «палачей», которая в качестве одной из вероятных опций носит макросоциальный и даже макрополитический характер. В сельском же сообществе репрессии носили соседский характер в буквальном смысле: «Часто решения о переходе к сплошной коллективизации, как и о проведении “раскулачивания”, принимались под давлением партийной ячейки села ограниченным количеством лиц на собраниях бедноты, так как конфискованное имущество должно было передаваться в неделимые фонды в качестве вступительных взносов бедняков и батраков или распределяться между ними» [Надькин, 2010, с. 80]. В подобных случаях репрессии не являются результатом межгруппового конфликта, стороны которого можно предварительно четко идентифицировать: напротив, категории жертв и участников преступлений конструируются в процессе репрессий из членов одного и того же соседского сообщества.

В результате модель «диалогического забвения» рассматривалась в качестве единственно разумной всеми участниками событий и безусловно доминировала в следующих поколениях, а пострадавшие семьи могли надеяться только на высшую справедливость: *«Какие-то такие кары их постигали, не то чтобы вот их привлекали к суду или что-то, ну, в общем, они очень плохо заканчивали. – И. Бог наказал? – Да, именно в таком ключе это воспринималось»* (мужчина, 49 лет). Иногда респонденты сообщали, что они не имеют представления о личности участников раскулачивания, хотя и слышали их фамилии в детстве: *«Говорить – говорила бабушка может быть, Т. какие-то, еще кто-то. А кто это такие, я все равно их не знаю»* (женщина, 71 год).

В ситуации, когда постановка вопроса об ответственности виновных односельчан бессмысленна, оказался один из опрошенных, у которого был раскулачен прадед, а затем в результате «кулацкой операции» расстреляны дед со стороны матери и двое его братьев, после чего его будущие родители – дочь расстрелянного и двоюродный брат председателя сельсовета – поженились и уехали в Среднюю Азию. Используя свои личные связи, он ознакомился с уголовным делом деда, включая фамилию исполнителя приговора и заведомо ложные свидетельские показания, написанные «под копирку», и обнаружил, что в качестве свидетелей выступали его родственники со стороны отца:

*Р. Свидетелями были наши родственники. Вот, пожалуйста, этот председатель... То есть родственники не по маминной стороне, а по отцовской, так что тут все перемешалось.*

*И. Понятно.*

*Р. Чего там.*

*И. Вы никогда не пытались предъявлять к ним какие-то претензии?*

*Р. Не, я не подхожу под эту категорию (мужчина, 79 лет).*

2. Другая возможная причина избегания проблемы виновности заключается в обращении к первопричинам массовых репрессий – революции и гражданской войне, которые рассматриваются респондентами в качестве стихийного конфликта, непредсказуемым образом расколовшего общество, включая родственные группы и местные сообщества. В результате последующее распределение ролей жертв репрессий и тех, кто их осуществлял, часто интерпретируется как трагическая случайность. Такая интерпретация размывает личную или групповую ответственность за репрессии и демонстрирует императивную установку на избегание в будущем подобных конфликтов, потенциальным источником которых может стать в том числе поиск виновных: *«Мой прадед страдал болезнью Альцгеймера, а поскольку это был лесной поселок, а вокруг был глухой лес, на мне это лежало, значит, не давать деду Игнату ходить в лес. И вот я помню как-то самый яркий случай такой, что, значит, дед идет в лес, и я ему говорила: “Дедушка, куда ты идешь?” Он мне говорит: “Я иду к своему брату Акиму, мне с ним нужно поговорить”... И я начала спрашивать, кто такой дед Аким. И тут выясняются еще более интересные подробности, что, оказывается, этот дед Аким во время гражданской войны воевал за белых. Потом он оказался вообще в антоновских бандах... Но, как бы, мой прадед воевал за красных, получил красные революционные шаровары и был раскулачен. А этот самый Аким воевал в антоновских бандах, и он был потом председателем колхоза и жил вообще не тужил, потому что он был бедняком.*

*Вот эта ситуация вся, она в общем мне очень много прояснила в нашей истории, честно сказать... Когда я узнала, что Аким-то воевал за белых, я думаю, тогда я еще не понимала вообще, как люди оказывались у красных или у белых, и я думала, вот, наверное, они, наверное, если бы они встретились, они, наверное, поговорили бы о том, правильно ли они выбрали сторону в гражданской войне. Но, когда я стала постарше, я поняла, что, в общем-то, вполне возможно, никто и не выбирал, просто как-то проходили сначала белые, призвали более старшего Акима, потом красные призвали более там Игната, который помоложе, вот и все» (женщина, 51 год).*

В данном случае, как правило, имело место именно забвение, а не прощение. Деперсонализация участников репрессий, нежелание запоминать их имена и расспрашивать старшее поколение о подробностях событий, делегирование наказания высшему субъекту – все это служит отрицанию субъектности виновных людей или групп и исключает любую форму диалога с ними по поводу репрессий – как осуждение, так и примирение или «торг» [Эппле, 2020, с. 18].

Таким образом, анализ семейных стратегий обращения с травматическим прошлым и сохранения воспоминаний о травмах раскулачивания и других массовых репрессий среди потомков их жертв в Мордовии позволяет констатировать отсутствие предпосылок для конструирования более широких травмированных сообществ на основании памяти об этих событиях, вариативность основных мнемонических стратегий, а также возможность их сочетания и преобладание в них культурных модусов историзации или мифологизации травмы, а не повторной травматизации. По нашему мнению, такая ситуация объясняется исходя из осознания временной и социальной дистанции и последствий фундаментальной трансформации социальной структуры региона, включая исчезновение «досоциалистических» идентификаций, а также сохранением семейной памяти о революции и гражданской войне наряду с интерпретацией их в терминах стихийной катастрофы, а не умышленного деяния.

### Примечания

<sup>1</sup> Исследование осуществлено при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований, научно-исследовательский проект «Наследие расчеловечивания: транснациональная перспектива» (№ 19-511-60005 ЮАР\_Т).

### Библиографический список

Адорно Т. Что означает «проработка прошлого» // Память о войне 60 лет спустя: Россия, Германия, Европа. М.: Новое литературное обозрение, 2005. С. 64–80.

- Айерман Р. Социальная теория и травма // Социологическое обозрение. 2013. Т. 12, № 1. С. 121–138.
- Александр Дж. Культурная травма и коллективная идентичность // Социологический журнал. 2012. № 3. С. 5–40.
- Ассман А. Забвение истории – одержимость историей. М.: Новое литературное обозрение, 2019. 552 с.
- Ассман А. Новое недовольство мемориальной культурой. М.: Новое литературное обозрение, 2016. 232 с.
- Зотикова В. Дважды забытые: в столице Мордовии до сих пор не захоронены сотни жертв сталинских репрессий [Электронный ресурс] // Российская газета – Неделя: Средняя Волга. 03.12.2015. URL: <https://rg.ru/2015/12/03/reg-pfo/poisk.html> (дата обращения: 10.10.2020).
- Кукулин И.В. Уточнение понятий [Электронный ресурс] // Новое литературное обозрение. 2015. № 132. URL: <http://www.intelros.ru/readroom/nlo/nlo132-2015/27325-utochnenie-ponyatiy.html> (дата обращения: 10.10.2020).
- Лавинская О.В. Документы прокуратуры о процессе реабилитации жертв политических репрессий в 1954–1956 гг. // Отечественные архивы. 2007. № 3. С. 38–46.
- Морозова Н.М. Лишение избирательных прав на территории Мордовии в 1918–1936 гг.: монография. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2009. 156 с.
- Надькин Т.Д. Сталинская аграрная политика и крестьянство Мордовии. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина», 2010. 311 с.
- Надькин Т.Д., Шишулина Т.П. Борьба с преступностью и охрана общественного порядка в Мордовии в 1930-е годы // Известия Пензен. гос. пед. ун-та им. В.Г. Белинского. 2011. № 23. С. 533–536.
- Олик Дж.К. Коллективная память: две культуры // Историческая экспертиза. 2018. № 4. С. 22–49.
- Рюзен Й. Кризис, травма и идентичность // Цепь времен: проблемы исторического сознания. М.: ИВИ РАН, 2005. С. 38–62.
- Солдаткин А.П. История 1930-х гг. как результат деятельности региональных руководителей // Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. 2013. № 3 (23). С. 35–45.
- Солдаткин А.П. Ротация кадров чиновничества Мордовии в период сталинизма (1928–1953 гг.) // Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. 2017. Т. 17, № 4. С. 30–42.
- Сталинизм в советской провинции: 1937–1938 гг. Массовая операция на основе приказа № 00447 / сост. М. Юнге, Б. Бонвеч, Р. Биннер. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); Германский исторический институт в Москве, 2009. 927 с.
- Сталинские репрессии [Электронный ресурс] // Левада-Центр. 23.05.2017. URL: <https://www.levada.ru/2017/05/23/stalinskie-repressii> (дата обращения: 10.10.2020).
- Титов К.В. Доклад Н.С. Хрущева «О культе личности и его последствиях» как политический контракт // Полис. Политические исследования. 2005. № 5. С. 2–11.
- Фрейд З. Методика и техника психоанализа. М.: Государственное издательство, 1923. 138 с.
- Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. М.: Новое издательство, 2007. 348 с.
- Хириш М. Что такое постпамять [Электронный ресурс] // Уроки истории. 17.06.2016. URL: <https://urokiistorii.ru/article/53287> (дата обращения: 10.10.2020).
- Эппле Н.В. Неудобное прошлое: память о государственных преступлениях в России и других странах. М.: Новое литературное обозрение, 2020. 576 с.
- Юрчёнков В.А. «Большой террор» в Мордовии: попытка переосмысления // Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2017. № 4 (44). С. 37–54.
- LaCapra D. Trauma, History, Memory, Identity: What Remains? // History and Theory. 2016. Vol. 55, iss. 3. P. 375–400.
- Zerubavel E. The Elephant in the Room: Silence and Denial in Everyday Life. NY: Oxford University Press, 2006. 162 p.

*Дата поступления рукописи в редакцию 23.11.2020*

## VICTIMS OF MASS POLITICAL REPRESSIONS IN MORDOVIA: SOCIAL IDENTIFICATION, MEMORY AND OBLIVION

**O. A. Bogatova**

Mordovia State University, Bolshevistskaya str., 68/1, 430005, Saransk, Russia

bogatovaoa@gmail.com

ORCID: 0000-0001-5877-7910

ResearcherID: 162949

Scopus Author: 6505697029

The subject of the study undertaken in 2019–2020 by the method of in-depth sociological interviews with the descendants of persons suffered of massive political repressions, including the dispossessed peasants, is the social memory of the population of the Republic of Mordovia about the mass political repressions of the 1920s – 1940s. The aims of the study were to identify the main strategies for dealing with collective trauma in families of repressed in a regional society, the main subjects of social memory about traumas of repression, strategies for remembering and forgetting, and social factors that influence their choice, strategies for group self-identification of the descendants of the repressed, prerequisites (or their lack) for the consolidation of broader traumatized communities, as well as the underlying cultural modalities of discussing trauma and repressions in terms of detraumatization or retraumatization. The results of the study show that the families of the repressed are the main social subjects that preserve the memory of mass repressions in Mordovia. At the same time, the descendants of the repressed do not show a tendency to form wider traumatized communities based on remembering the repressions and identifying their perpetrators. There are three main strategies for dealing with collective trauma in families of the repressed. The first one is silence which is typical mainly for the commemorative strategies of families that have not changed their place of residence, contributing to the individualization of trauma and its intergenerational transmission. The second strategy is “talking cure” the trauma of repressions in terms of legal and moral assessment, based in the Soviet period on the assimilation of the self-identification of the “Soviet person” instead of the former group identity destroyed by repressions. The third strategy is the creation of an anti-communist counter-narrative about mass repressions based on the least stable in intergenerational perspective strategy of family self-segregation. Family narratives about traumatic experience are dominated by detraumatizing modalities of historicization and mythologization, which do not question the value of group identities acquired due to the integration of the descendants of the repressed into the structure of Soviet society. In local communities, the predominant model for dealing with the traumatic past remains “dialogical oblivion”.

*Key words:* social memory, collective trauma, traumatized community, memory community, mnemonic strategies, detraumatization, remembering, oblivion, Republic Mordovia, mass repressions, dispossession.

### *Acknowledgments*

<sup>1</sup> The reported study was funded by the Russian Foundation for Basic Research, research project “The Legacy of Dehumanization: A Transnational Perspective” (№ 19-511-60005 YuAR\_t).

### *References*

- Adorno, T. (2005), “What does “working out the past” mean”, in *Pamyat' o voyne 60 let spustya: Rossiya, Germaniya, Evropa* [Memory of the war 60 years later: Russia, Germany, Europe], Novoe literaturnoe obozrenie, Moscow, Russia, pp. 64-80.
- Alexander, J. (2012), “Cultural trauma and collective identity”, *Sotsiologicheskii zhurnal*, № 3, pp. 5–40.
- Assman, A. (2016), *Novoe nedovol'stvo memorial'noy kul'turoy* [New discontent with memorial culture], Novoe literaturnoe obozrenie, Moscow, Russia, 232 p.
- Assman, A. (2019), *Zabvenie istorii – odezhimost' istoriey* [Oblivion of history – obsession with history], Novoe literaturnoe obozrenie, Moscow, Russia, 552 p.
- Epple, N.V. (2020), *Neudobnoe proshloe: pamyat' o gosudarstvennykh prestupleniyah v Rossii i drugih stranah* [Inconvenient past: the memory of state crimes in Russia and other countries], Novoe literaturnoe obozrenie, Moscow, Russia, 576 p.
- Eyerman, R. (2013), “Social theory and trauma”, *Sotsiologicheskoe obozrenie*, vol. 12, № 1, pp. 121–138.
- Freud, Z. (1923), *Metodika i tehnika psihoanaliza* [Methodology and technique of psychoanalysis], Gosudarstvennoe izdatel'stvo, Moscow, Russia, 138 p.
- Halbwachs, M. (2007), *Sotsial'nye ramki pamyati* [Social framework of memory], Novoe izdatel'stvo, Moscow, Russia, 348 p.
- Hirsch, M. (2016), *Chto takoe postpamyat'. Uroki istorii* [What is post-memory. Lessons of history], available at: <https://urokiistorii.ru/article/53287> (accessed 10.10.2020).
- Junge, M., Bonvech, B. & R. Binner (2009), *Stalinizm v sovetskoy provintsii: 1937–1938 gg. Massovaya operatsiya na osnove prikaza № 00447* [Stalinism in the Soviet province: 1937–1938 bulk operation based on order

- No. 00447], Rossiyskaya politicheskaya entsiklopediya (ROSSPEN); Germanskiy istoricheskiy institut v Moskve, Moscow, Russia, 927 p.
- Kukulin, I.V. (2015), "Clarification of concepts", *Novoe literaturnoe obozrenie*, № 132, available at: <http://www.intelros.ru/readroom/nlo/nlo132-2015/27325-utochnenie-ponyatiy.html> (accessed 10.10.2020).
- LaCapra, D. (2016), "Trauma, History, Memory, Identity: What Remains?", *History and Theory*, № 55(3), pp. 375–400.
- Lavinskaya, O.V. (2007), "Prosecutor's office documents on the process of rehabilitation of victims of political repression in 1954–1956", *Otechestvennye arhivy*, № 3, pp. 38–46.
- Morozova, N.M. (2009), *Lishenie izbiratel'nyh prav na territorii Mordovii v 1918–1936 gg.* [Deprivation of voting rights on the territory of Mordovia in 1918–1936], Izdatel'stvo Mordovskogo universiteta, Saransk, Russia, 156 p.
- Nad'kin, T.D. & T.P. Shishulina (2011), "The fight against crime and the protection of public order in Mordovia in the 1930s", *Izvestiya Penzenskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. V.G. Belinskogo*, № 23, pp. 533–536.
- Nad'kin, T.D. (2010), *Stalinskaya agrarnaya politika i krest'yanstvo Mordovii* [Stalinist agrarian policy and the peasantry of Mordovia], Rossiyskaya politicheskaya entsiklopediya (ROSSPEN); Fond «Prezidentskiy tsentr B.N. El'tsina», Moscow, Russia, 311 p.
- Olick, J.K. (2018), "Collective Memory: The Two Cultures", *Istoricheskaya ekspertiza*, № 4, pp. 22–49.
- Rusen, J. (2005), "Crisis, trauma and identity", in *"Tsep' vremen": Problemy istoricheskogo soznaniya* ["Chain of times": problems of historical consciousness], IVI RAN, Moscow, Russia, pp. 38–62.
- Soldatkin, A.P. (2013), "History of the 1930s as a result of the activities of the regional leaders", *Gumanitariy: aktual'nye problemy gumanitarnoy nauki i obrazovaniya*, № 3 (23), pp. 35–45.
- Soldatkin, A.P. (2017), "Rotation of personnel officials of Mordovia in the period of stalinism (1928–1953)", *Gumanitariy: aktual'nye problemy gumanitarnoy nauki i obrazovaniya*, vol. 17, № 4, pp. 30–42.
- Stalinskie repressii* (2017) [Stalinist repressions], available at: <https://www.levada.ru/2017/05/23/stalinskie-repressii/> (accessed 10.10.2020).
- Titov, K.V. (2005), "Contrat social" a la Khrushchev (The report "On personality cult and its consequences" as supreme power's contract with nomenclature)", *Polis*, № 5, pp. 2–11.
- Yurchenkov, V.A. (2017), "«Great terror» in Mordovia: an attempt to rethink", *Vestnik NII gumanitarnykh nauk pri Pravitel'stve Respubliki Mordoviya*, № 4 (44), pp. 37–54.
- Zerubavel, E. (2006), *The Elephant in the Room: Silence and Denial in Everyday Life*, Oxford University Press, New York, USA, 162 p.
- Zotikova, V. (2015). "Twice forgotten: Hundreds of victims of Stalinist repression are still not buried in the capital of Mordovia", *Rossiyskaya gazeta – Nedelya – Srednyaya Volga*, available at: <https://rg.ru/2015/12/03/reg-pfo/poisk.html> (accessed 10.10.2020).